

Константин Николаевич Леонтьев

# **Пасха на Афонской Горе**

# Константин Леонтьев Пасха на Афонской Горе[1]

## I

Непостижимый для непривычного, хотя бы даже и верующего человека, аскетизм большинства греческих и русских обитателей на Святой Горе в течение Великого поста доходит до того, что становится в иные минуты страшно о нем и подумать!

Церковные службы и в обыкновенное время, по нашему мирскому суду, слишком длинные и слишком частые, во время поста наполняют почти весь день и всю ночь; ограничение в пище доводится до самого крайнего предела. В иные дни, на первой неделе, например, и на Страстной (по-гречески на *Великой неделе*), только певчим дается по ломтю хлеба, не помню, раз или два в день, чтобы они были в силах петь.

"Травки и травки" монашеской трапезы, которые так ужасали г. Благовещенского (написавшего, несмотря на всю реалистическую нищету своего мировоззрения, об Афоне мно-

го *невольной* правды, весьма лестной для его обитателей), — эти "травки", истинно ужасные "травки", вступают в течение тяжких семи недель в полные права свои.

В это время все на Афоне становятся, волей и неволей, высокими подвижниками духовными и телесными. Тот, кому это полегче, не должен гордиться, а должен смиряться перед высшею "благодатью" подобного облегчения; тот, кому это очень трудно, больно и скучно, должен помнить, что эта боль и эта скука, это состояние почти ежеминутного несносного *понуждения*] оно-то и есть *настоящее монашество*, то есть добровольное хроническое мученичество во славу Божию. Облегчение же долгой и постепенной телесной привычки и внезапные восторги душевного умиления — это не *от нас*. Это награда свыше за подвиг или поддержка слабому и унылому за *доброе изволение понудить себя и покориться*. Все приятное и утешительное не от нас, а от Бога; от нас все принудительное, самоограничивающее, то есть скучное... даже и на молитве. Такова философия истинного аскетизма.

И мирянин, живущий долго на Афоне, может пережить, хотя и не вполне, а лишь отрывками, все те разнообразные минуты скорби и отрады, которых глубокое и необычайно тонкое сплетение составляет науку монашеской жизни, "науку из наук", как говорят учителя-аскеты.

Греки при начале Великого поста нередко приветствуют друг друга так: "Желаю тебе благополучно преплыть Четыредесятницы *великое море*"!..

Истинно великое море! Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы, от которой, однако, сама совесть, сама личная воля не позволит отказаться без крайнего изнеможения! И сколько невидимых "камней" духовного преткновения! Над церковью в Руссике есть хоры; за хорами этими две небольших кельи; в кельях этих нет ничего, кроме аналоя с крестом и Евангелием и одного кресла для отдыха духовнику. Кельи эти дверями выходят в коридор, а на хоры окнами, заклеенными тонкой и темной материей, сквозь которую слышно все богослужение бесконечного, истинно *всенощного* бдения

(оно продолжается иногда 13—14 часов!). Посмотрите, как теснятся в коридоре у дверей этих келий скорбящие монахи всех возрастов и всяких степеней духовного опыта! Они ждут не дождутся очереди излить души свои перед старцами!

Они пришли сюда признаваться в самых тонких "искушениях", открывать самые затаенные "помыслы"; или выразить свое отчаяние, если телесный подвиг поста тому или другому из них не по силам; быть может, даже сознаться в минутном раскаянии, что стал монахом, в преходящем, но мучительном порицании монашества и сурового устава святогорских киновий. Или еще в худшем — в гневе и ропоте на самого этого старца за его требования. Именно на это-то и ответят им с любовью великого опыта, и посмеются немного, и расскажут что-нибудь подобное или из своей прошлой жизни, или из преданий.

Но вот близится к концу своему плавание по "великому и бурному морю" глубокой, разнообразной и таинственной борьбы могучего духа с бессильной и многострастной плотью.

Настает "Великая неделя" *страданий*.

И в честь Христа, во славу Божию человеческие усилия становятся еще более жестокими... Службы церковные еще длиннее и беспрерывнее, пища еще ограниченнее, время сна и роздыха еще короче. Нравственные требования аскетически настроенной совести еще неумолимее! И тут-то с особенной ясностью и случается видеть, как может действовать сильная вера и аскетическая выработка на изможденную плоть!

Нас, мирян-поклонников, на Святой Горе было тогда (в 71-м году) довольно много; были крестьяне, купцы, были священники из России; было двое-трое дворян, было двое юношей издалека: молдаван с Дуная и грек из Эпира; соседних болгар, работавших по разным обителям, собиралось много в Руссике на большие службы Страстной недели. И все эти миряне охотно, но, конечно, болезненно несли великопостные тяготы.

В Великую пятницу в соборном всеобщем служении участвовал и старший русский духовник о. Иероним. Я жил уже давно на Афоне и ни разу не видал его служащим. Он и тогда уже был очень слаб, страдал опасными

и тяжкими недугами, не раз, к ужасу всей братии, приближавшими его к могиле; ел очень мало и целые дни и ночи был занят выслушиванием "откровений"[2], хозяйством монастыря, чтением духовных и даже светских серьезных книг, чтобы быть на уровне современных понятий, и, сверх всего этого бремени, он не мог, как влиятельный человек и духовный начальник в единственном русском монастыре, имеющем представителя в святогорском *Протате* (Синоде), устраниваться вполне и от некоторого невольного участия в международных вопросах и движениях, отражающихся на Святой Горе неизбежно, вследствие общей запутанности дел Турецкой империи. Волей-неволей, нередко вследствие внешних давлений, о. Иерониму приходилось не быть ничему чуждым, *ибо он был незамеченным*, и в глазах всей русской братии, начиная с архимандрита — покорного ему постриженника и сына, и в глазах поклонников, и во мнении посольства нашего, консулов и даже многих единоверцев наших на Афоне: греков, болгар и румын. Когда же ему оставалось время для богослужения и где же было взять для

этого в обыкновенные дни телесных сил?

Но в эти великие дни искупительных страданий мощный дух великого старца побеждал изнемогающую плоть. В Великую пятницу мы видели о. Иеронима служащим.

Мы все удивились; мы восхищались внезапно проявившеюся в нем бодростью телесной; он вдруг помолодел, как будто вырос: на красивом, поразительно строгом, необычайно выразительном и твердом лице несказанно-чтимого и любимого нами пастыря светилось нечто особое — торжественное, тихое, серьезное.

Как он твердо теперь ходил по храму! Как он внимательно и не спеша кадил каждой кучке бедных болгарских рабочих, и зато с какой благодарной почтительностью они склонялись перед ним! Один из поклонников, отставной воин, родом литвин, заметил, что при всей телесной слабости своей о. Иероним еще гораздо внимательнее других иеромонахов кадил этим смиренным людям с бритыми головами в старых куртках и шальварах.

Чтоб не находить все это "очень простым" и "очень легким", как готовы найти очень

многие, я советую только вспомнить, как иной раз тяготят нас *телесно* условия самого краткого и самого "льготного", так сказать, городского "говения" нашего: постная пища в течение одной недели, слушание так называемого *правила*, теснота в церкви, голод и усталость в утро причащения. Я советую вспомнить этот пример нашего ничтожного светского воздержания: эту легкую дань, которую мы не всегда без душевной борьбы и без "искушений" ропота платим раз или много два в год "умерщвлению плоти", так или иначе *немошной*, то есть *немошной* по недугам и возрасту, или *еще более в христианском смысле немошной* — по нетерпению юности, по многострастности крепкого здоровья. Советую при этом же вспомнить и радость свою, когда все эти мелкие душевные и телесные препоны благополучно пройдены, когда "жертва" уже принесена, когда мы можем *весело* отдохнуть, разговеться и возвратиться к привычному образу жизни нашей. Если мы это в городах так сильно чувствуем, то что же может человек ощущать в день Пасхи на Афоне, где все относится к Богу — и скорбь, и ра-

дость, и пост, и разрешительный праздник! В это время на Святой Горе уже давно весна; наверху, на гребне горы, в лесах уже давно стаял снег, и те кусты и деревья, которые и на юге зимой теряют листья, начинают одеваться и зеленеть. Расцветают давно уже иные весенние цветы.

Место, где стоит старый Руссик у моря, не из красивых мест на Афоне. Окрестности многих других обителей гораздо живописнее и привлекательнее. Обширный монастырь (весь белый, с зеленым куполом и крышами), неправильно, туда и сюда, вниз и вверх, не в одно время и не сразу построенный, живописен этой самой неправильностью; но архитектурных достоинств имеет гораздо меньше, чем некоторые греческие монастыри и особенно чем превосходный болгарский Зограф.

Перед монастырем море, нередко очень унылое и загражденное на горизонте длинной, однообразно синей полосой полуострова Кассандры. За монастырем, почти вплоть у окон задних корпусов, большая гора, сплошь покрытая не лесом густым и красивым, а кустарником низким и частым, который летом

наводит уныние однообразием и неподвижностью своей темной зелени, неприятно блестящей под лучами постоянно палящего солнца.

Но именно Великим постом и перед Пасхой эта гора мало-помалу начинает *пестреть* и становится веселой и прекрасной, как богатый, расписной ковер.

Сплошной и низменный кустарник ее на короткое время весь убирается цветами белыми, розовыми, желтыми. Между этими красивыми, яркими пятнами видны другие оттенки, зеленые и красно-бурые; это новый лист на иных кустах, еще не позеленевший. В этих пестрых кустах весело бродят монастырские мулы, мирно бряцая колокольчиками. Воздух еще не слишком жарок и как-то особенно душист. Птицы в лесу поют громко по утрам. Сама природа точно готовится пышно и весело встретить "праздник из праздников и торжество из торжеств"!

Настает *последний вечер*. Все безмолвно, монашеские кельи заперты; длинные коридоры тихи; храмы пусты; лес, гора и берег моря — все безлюдно.

И вот в самую полночь — громкий удар молотом в доску. За ним другой, чаще, чаще! Внезапно вслед за тем раздается торжественный и сильный звон колоколов. Все оживает мгновенно. Двери скрипят и стучат, слышны голоса, огни мелькают всюду. Сияют перед нами отпертые храмы сотнями свечей.

Все пробуждается радостно и бодро!.. У самого усталого является непонятная сила возбуждения!

Конец "великому морю" телесного истязания и нестерпимой в иные дни душевной борьбы, уныния и туги!

Мы у берега — у берега веселого, цветущего! Мы отдохнем теперь. Мы достойны отдыха!

"Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ..."

## II

Заутреня под Светлый праздник на Афоне длится всю ночь до раннего утра. Потом все расходится на короткое время и опять возвращаются в церковь к ранней обедне. Я не знаю, как назвать этот короткий перерыв богослужения.

жения: часом отдыха или новым испытанием? Быть может, для иных, например, для служащих и поющих, это необходимо; но для нас, поклонников, было бы, кажется, легче не уходить и не ложиться... *Снова* собираться к обеду очень трудно! Опять понуждение, опять подвиг после истинно "всенощного" бдения! Однако я помню, во время самой обедни, не особенно для Св. Горы продолжительной, мне было так же весело и радостно, как и при начале заутрени, когда мы в первый раз услышали пасхальное пение и не могли вдоволь наслушаться этих ни с чем не сравнимых слов, столь часто, однако, повторяемых: *Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...* Но настоящее утешение — после пищи, после долгого и покойного сна, уже без всякого *принуждения* и болезненности — еще ждало нас впереди: это — *Вечерня воскресная*, которую на Востоке зовут "Второе воскресение" (по-гречески *Девтера анастасис*).

У нас, в России, эта вечерня первого дня Пасхи проходит для большинства едва замеченной; на Востоке, напротив того, на нее со-

бирается столько же народа, сколько и на самую заутреню, иногда еще и более, потому что за этой службой, не слишком продолжительной и совершающейся в очень удобное время дня, происходит нечто крайне любопытное, нечто такое, что может привлечь из одного любопытства и вовсе не богомольного человека: это — *чтение Евангелия на разных языках*.

Известно, что на эту вечерню положено читать то Евангелие от Иоанна, в котором повествуется о *втором явлении* воскресшего Спасителя всем собравшимся ученикам, за исключением апостола Фомы, который, возвратясь потом, впал в сомнение и сказал, что он не поверит этому до тех пор, пока не вложит пальцев своих в раны Христа. (Первое явление было Марии Магдалине.)

Вот почему на Востоке вошло в народный обычай называть эту службу *Второе воскресение* (то есть *Второе явление*). На каких языках должно читать Евангелие, конечно, не определено и не должно быть определяемо. Читать можно на всех — и на знакомых большинству, и на незнакомых. И то и другое про-

изводит сильное впечатление. На языке понятном приятно следить за мыслью уже хорошо знакомой по родному языку; наречие непонятное поражает иначе — как нечто полутаинственное и странное. Читают на тех языках, на которых в данной местности есть возможность читать: на греческом, конечно, прежде всего, на славянском, на турецком, армянском, албанском, иногда и на арабском или латинском. На французском или итальянском очень редко. Оба эти языка очень распространены в торговом классе, преобладающем в светской среде христиан; но между духовными лицами мало можно встретить людей, хорошо говорящих или читающих правильно на этих "живых" языках Запада. У меня есть греческая маленькая книжка, изданная в 1870 году в Константинополе. В ней помещены субботняя служба у Плащаницы, последование часов Великой субботы и двенадцать Евангелий на разных языках для той Пасхальной вечерни, о которой я пишу. Первым, разумеется, в греческом издании поставлено обыкновенное Евангелие на греческом языке. Потом следует то же место (о втором

явлении собранным ученикам) в эллинских стихах (героическим гекзаметром, как сказано в книжке); третьим идет ямбическое греческое переложение того же; дальше — по-славянорусски ("славороссисти"), потом на новоболгарском языке, дальше по-албански, по-латыни, по-итальянски, по-французски, по-арабски, по-турецки и по-армянски.

В разных городах случилось мне слышать и разные языки; это зависит от того, на каких языках могут читать люди местного духовенства, находящиеся в этот день налицо. Я был на этой вечерне в Янине, в Адрианополе, в Константинополе (в Хал-кинской богословской семинарии) и на Афоне.

Хорошо было везде; но на острове Хал-ки было лучше, чем в провинциальных соборах; а на Святой Горе, в греко-русском монастыре Св. Пантелеймона, было лучше всего.

Заутреню и раннюю обедню мы слушали в бывшей домово́й Покровской церкви, которая устроена русской братией в верхней по местоположению (в восточной) части обширной обители, расположенной, как я уже сказал, на склоне горы к морю.

Вечернюю воскресную служили вместе с греками внизу в главной церкви или в соборе, воздвигнутом, как и все афонские соборы, посредине мощенного плитами двора.

Это уже одно много значило.

В домовой русской церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, кроме иконостаса и утвари, изящной и богатой, ничего нет замечательного. Эта церковь обширна, зимой тепла, удобна, ход в нее прямой из теплого коридора гостиницы — и только. Это очень большая зала с белыми штукатурными стенами, с длинным рядом обыкновенных (четырехугольных) больших окон, из которых вид на нижнюю (греческую) половину монастыря, на море и всегда темную полосу полуострова Кассандры — несколько уныл, но не лишен величия. Кругом стен "стасидии" с ручками и откидным "сиденьем", для стояния и отдыха монахам и богомольцам.

Несколько таких же мест, но более почетных, для гостей большого чина или звания — посреди пустой залы у штукатуренных колонн. Удобно, чисто, просторно, бело; но красоты или величия искать тут не надо. Один

иконостас, говорю я, очень хорош. Я готов сказать даже и больше этого: я готов назвать его прекрасным. Он очень своеобразен; он как-то *изящно-тяжел*, в меру пестр и в меру одноцветен.

Он не высок, весь сплошной золоченый; размеры его несколько тяжелы, орнаменты несложны, не кудреваты, строги. Царские врата тоже низки и очень просторны, большие местные иконы только в один ряд, и лики в естественную величину человеческого образа. Если мне не изменяет память, этих икон всего четыре: Спаситель, Божия Матерь, "патрон" монастыря св. Пантелеймон, которого глава хранится внизу у греков, и *русский* святитель Митрофаней, принесенный нами на Афон. Все эти иконы превосходной троице-сергиевской *чеканной* работы. На тонко-узорном золотом поле выделяются в высшей степени изящно вполне *человеческие* по цвету лица, но по выражению — *иконописно*, таинственно покойные образы Учителя-Бога, Девы с Младенцем Христом, прекрасного юноши-мученика и седого преподобного старца. Одежды Спасителя — голубая и розовая и

св. Пантелеймона — малиновая с зеленым — прелестны своей яркостью посреди сплошной, одноцветной позолоты. Что касается до лика Самого Христа, то я ни прежде, ни после не видал ничего лучшего. Это — *икона* высокого стиля, а не картина. Нечто прекрасное и мужественное, и молодое, немного бледное, идеальное, тихое, покойное, и вместе с тем что-то тонко-национальное, семитическое, как бы для большей исторической наглядности, для *реальности хорошей*, счастливой в смысле возбуждения, *положительной* веры.

Может быть, у меня вкус нехорош или технику искусства я не достаточно понимаю, но таково было мое впечатление, и я им делюсь с читателями откровенно.

Прекрасный иконостас этот пожертвован теперь уже скончавшимся игумном Антонием Бочковым (из купцов), который провел последние годы свои на покое под Москвой, в Николо-Угрешском монастыре.

Кроме этого иконостаса, в пустой и обширной белой зале Покровской русской церкви ничто не может произвести особенно праздничного или торжественного впечатления.

(Конечно, я не говорю здесь о самом богослужении, — его порядок у русских на Афоне образцовый, такого я не видал ни в Московских соборах, ни в Оптиной пустыни, ни тем более у греков и болгар, служащих всегда несколько "дерзновеннее", небрежнее наших.)

Совсем не то в главном соборе. Этот собор предоставлен был в то время грекам, живущим в нижней половине монастыря, у моря, как старейшим в обители. Стиль этого храма — общеафонский стиль, вроде наших древних Московских соборов. Высокий храм — величавый, обремененный убранством, на вид суровый, темный, но сияющий золотом; бесконечно высокий иконостас; над серединой круглый купол, не широкий и отлогий, как в Св. Софии Цареградской, а покоящийся на круглой башне, как в Исаакиевском соборе.

В Афонских соборах эта срединная башня, этот исполинский цилиндр, уходящий к небесам над головой богомольца, не пуст, как бывает у нас... Он весь наполнен сиянием. Кроме массивного и драгоценного центрального паникадила, есть еще ближе к стенам обшир-

ный хорус с (хор, хоровод, круг). Это серебряное огромное разубранное кольцо с рядом свечей, которые образуют в праздники широкий венец других огней вокруг пирамидой возносящихся огней центральной люстры. Между огнями люстры и огнями кольца ниспадает над головою вашей еще множество отдельных зажженных лампад и свечей и *страусовые* яйца на серебряных привесках. Хорус тоже снизу украшен бахромой из этих больших белых яиц.

Восточные единовѣрцы наши имеют сверх того по большим праздникам обычай длинным каким-нибудь орудием приводить в кругообразное движение и паникадило, и хорус, и все, что висит над людьми под куполом. Все эти огни свечей и лампад, это серебро и золото, эти большие и твердые как камень яйца — все это белеет, сияет, светится, искрится, двигается над вами, все это словно безмолвно ликует вместе с людьми в тихой, но непрерывной и торжественной пляске...

Мы не привыкли, правда, к восточному пению; оно с непривычки нам кажется неприятным и диким. Но когда хор певчих

хорош, как было в то время у греков в Руссике, то нельзя отказать и этому пению в силе и в странной особого рода эффектности... Конечно, богослужение этой вечерни достигло бы совершенства, если бы к несколько мрачной и величавой красоте тяжелого собора, к разноцветной роскоши ярких облачений, к чтению Слова Божия на разных языках, к этой простодушно-таинственной пляске огней в глубоком мраке купола — прибавить еще пение хотя бы и на том же прекрасном эллинском языке, но при избранной русской музыке...

Но совершенства нет ни в чем на земле... и в самых высших проявлениях прекрасного. Впрочем, "глас", на который поют греки и болгары "Христос воскрес", с нашим не схожий, довольно приятен... Напев этот менее скор и боек, чем наш: он медлительнее и даже как бы меланхоличнее; но, поживши на Востоке, и к нему привыкаешь скоро, как к чему-то почти родному...

Но вот раздается возглас диакона:

"И о сподобитися нам слышания Святаго Евангелия Господа Бога молим!"

И дальше:

— От Иоанна Святаго Евангелия чтение!

— Вонмем! (*Просхомен!*) — отвечает ему по-гречески русский архимандрит Ма-карий.

Это первое Евангелие *по-гречески* читает, *сидя* по немощи у Царских дверей, сам стодесятилетний игумен Герасим (бывший священником, 40-летним мужем еще во времена Екатерины Великой).

"Усие опсиас, ти имера экини ти миа тон Савватон"... и т. д. "Ильфэн о Иисус кэ эсти ис то месон, кэ леги автис: *Эрши имин!* (мир вам!)"

И дальше о возвращении неверующего апостола Фомы.

Едва только кончил древний старец чтение, как внезапно раздался громкий, потрясающий звон колоколов, и в то же мгновение на дворе началась веселая пальба из ружей. Палят во славу Божию монастырские стражники в фустанеллах. Потом на минуту все стихает; ни звона, ни пальбы, ни возгласов, ни пения... Все молчит мгновенно... И среди этого внезапного замирания всех звуков раздается в самой церкви, где-то в глубине ее, ка-

кой-то странный, нигде мною не слыханный и чрезвычайно приятный, особенно переливающийся звон... Что-то металлическое и вместе с тем что-то подобное музыкально падающим очень крупным каплям... Это греки ударяют ритмически какими-то шариками на длинных ручках по медным кругам.

И опять тишина и ожидание.

И опять возглас по-славянски...

— И о сподобитися нам... От Иоанна Св. Евангелия чтение!

— Вонмем...

Архимандрит Макарий читает по-славянски.

— Сущу же позде в день той, во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: "мир вам!"

О. Макарий кончил... Ап. Фома сказал, что "не будет верить, пока не вложит руки в ребра Его".

Воскликнули певчие: *"Докса си, о Феос имоп, докса си..."* (Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!)

И снова торжественный звон, и опять пальба... И опять тишина на мгновение, и снова переливы металлических капель, ниспадающих на металл...

— Теперь что будет?

— Вонмем!

— Какие это звуки?

— "*Юрта гюнлериш бир инда актам вактинти ее саидлер*". И дальше: "*Ве анлере дэти*": "*Селам сизе*" (мир вам)!

Это *турецкое* Евангелие.

Восточные христиане его слушают с удовольствием. Они привыкли к турецкому языку; они, *по правде говоря*, даже любят его. В Малой Азии есть до сих пор много *греков, не знающих по-гречески*. В их церквах вся служба совершается по-турецки.

После нового звона, новой пальбы, новых ударов милого шарика и новых возгласов из другой стороны храма послышалось нечто очень знакомое, но с непривычки для нас гораздо более странное, чем Евангельская речь на языке пашей, языке и наивном, и суровом. Повеяло *Римом*.

— In illo tempore quum sero esset die illo, una

Sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli...

Затем, опять — после шумной, "поющей, вопиющей", звонящей, играющей и палящей перемежки — слышу я непонятную мне речь...

— Какая это?..

— Это речь народа без словесности, без грамматики — речь народа, имеющего только горные эпические песни... Греческие монахи опять улыбаются, как чему-то очень знакомому и даже немного смешному.

— *Даги Према у эр ате дите те стуне.*

Это речь *албанская*, речь знаменитых *арнаутов*, которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, крепко люблю; речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвованр слуг: в *Христианстве* — дававших самую лучшую военную стихию прежним греческим восстаниям, в *мусульманстве* — свершающих под турецкими бунчуками самые страшные зверства. Странный народ!.. Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия почти смешного и самой ковар-

ной хитрости. Народ-сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего до сих пор не нашедший с точностью[3].

Вечерня кончилась. Звон и пальба прекратились. На мощеном дворе и в длинных коридорах келий опять воцарилось глубокое безмолвие отдыха.

Из открытого окна моего, сидя, долго смотрел я на розовые, золотые, желтые, бурые и белые кусты как бы ликующей вместе с нами горы, обыкновенно столь мрачной и скучной. Я слушал тихое бряцание колокольчиков на шеях пасущихся мулов; но другие образы и звуки неотступно и восхитительно владели душой моей во весь этот вечер.

Эти возгласы и звон, это чтение Слова Божия... Эти разнородные, несхожие звуки: "Мир вам"! *"Эрини имин! Pax vobis! Селам сизе!.. "* Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду, — пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие; опять молитвенный возглас, опять пальба, и звон, и пение... И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или

легкого удивления...

И над всем этим — круговая тихорадостная, не престающая *пляска бесчисленных огней* в темной высоте...

— Нет, это в самом деле "праздник из праздников и торжество из торжеств"!..

# Примечания

Впервые: газета "Русь". 1882. № 22, 26. Здесь по: КНЛ "Восток, Россия и Славянство". М., 1996. С. 346-352

[^^^]

"Откровением" называется искреннее сообщение даже тончайших помыслов своих старцу *без разрешительных действий таинства покаяния*. Это простая, но полнейшая *откровенность* послушника с духовным руководителем своим, *старцем*. Поэтому-го *старцем* может быть и монах, не имеющий *иерейского сана*. — Авт.

[^^^]

Греки уверяли меня, что этот отрывок из Евангелия пишут по-албански *греческими* буквами на *особом листке* и, вложивши в *какую-нибудь церковную книгу*, читают в церкви — *Авт.*

[^^^]